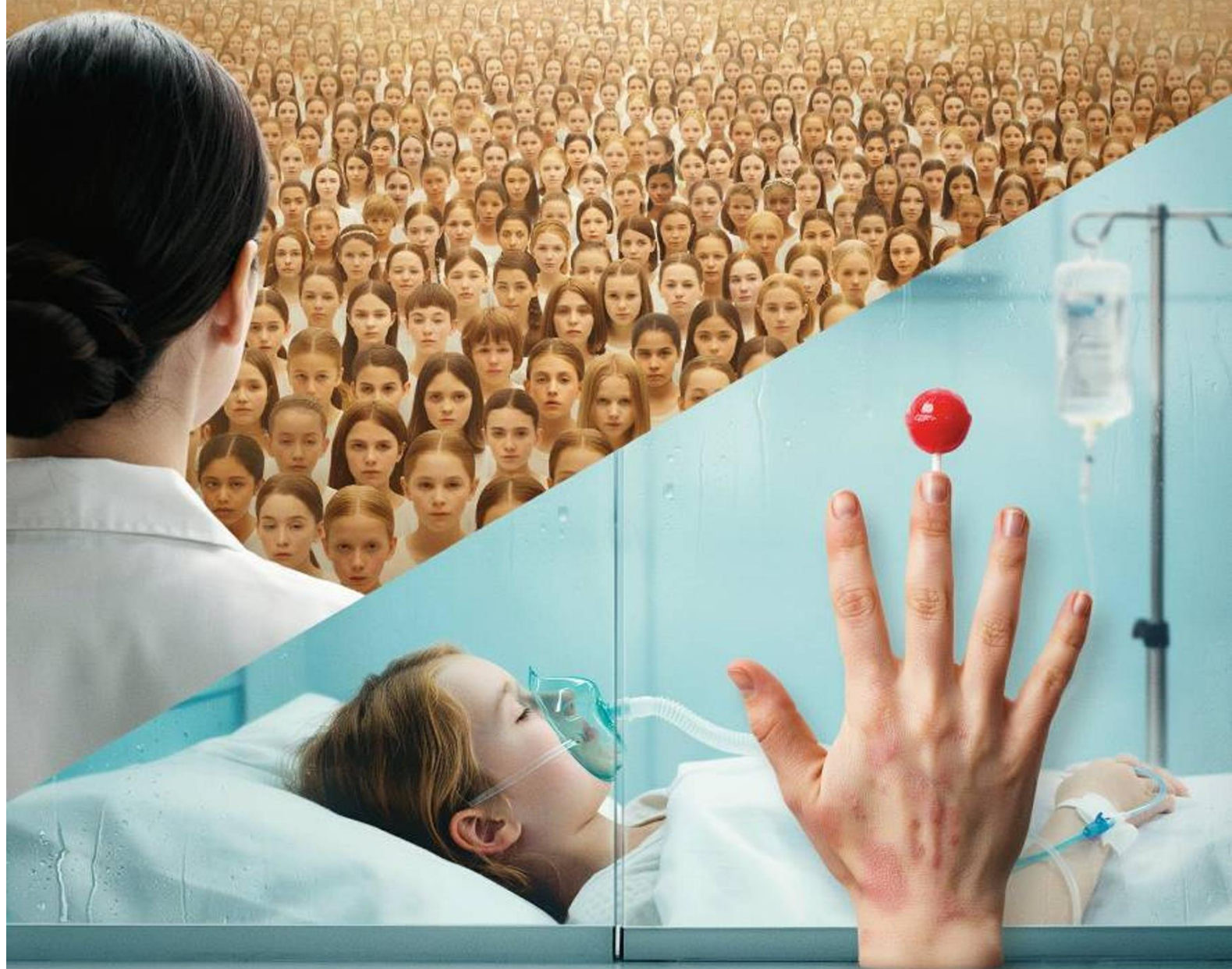


ОТБОР



Э д у а р д С е р о у с о в

Эдуард Сероусов

Отбор

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Отбор / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Тридцать лет система «Матрица» помогала родителям выбирать «лучшее» для будущих детей — и незаметно, поколение за поколением, мир сошёлся к одному лицу, одной иммунной защите, одному замку на всех. Когда новый респираторный вирус находит эту общую слепую зону, эпидемиолог Ева Кан, когда-то громко хоронившая скептиков системы с публичной трибуны, обнаруживает: её собственная дочь Мира умирает вместе с целым идеальным поколением. Спасение приходит с той стороны, которую тридцать лет считали браком — от неоптимальной племянницы. Чтобы остановить катастрофу, Еве придётся вернуться к тем, кого она публично уничтожила своим голосом, и заплатить цену возврата разнообразия, которую уже нельзя отменить и придётся называть по именам.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. День первого поколения	5
Часть 2. Один пациент в миллионе тел	10
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Эдуард Сероусов

Отбор

Часть 1. День первого поколения

Тридцать тысяч детей — и ни одного лица, которое Ева не узнала бы.

Она стояла в проходе верхнего яруса, держась за нагретый солнцем поручень, и смотрела вниз, на чашу стадиона, залитую детьми. Они сидели секторами, по школам, в одинаковых белых футболках, и с этой высоты головы сливались в сплошное поле — тёплый охристый оттенок волос, который лет пятнадцать назад считался редким, а теперь стал просто цветом волос. Поле шевелилось. Оно смеялось одним смехом, оно вставало одной волной, когда по кругу пускали флаги, и опускалось, и Ева ловила себя на том, что не может отличить один сектор от другого иначе как по цифрам на транспарантах.

Так теперь выглядел мир. Она вспоминала — смутно, как вспоминают чужой сон, — что в её детстве люди были разные. Не по одежде и не по деньгам, а лицами: тяжёлые подбородки и тонкие, глаза посаженные близко и широко, носы с горбинкой, редкие рыжие среди тёмных, некрасивые той случайной некрасотой, которая теперь исчезла, как исчезает диалект. Идеал сошёлся. Не кто-то его свёл — он сам стёкся в одну точку, за тридцать лет, пока миллионы родителей по одному выбирали для своих детей «лучшее», и «лучшее» у всех оказалось одно. У детей на этом поле были одинаково правильные лица, одинаково ясные глаза, и когда камера крупным планом выхватывала кого-то на большой экран над трибуной, зал не мог понять, кого именно, — просто ребёнка, любой, все.

Это было красиво. Она заставляла себя думать именно так: красиво. Не однообразно — гармонично. Тридцать лет назад половина этих детей не дожила бы до десяти. Половина этого поля была бы пустой — умершие в родах, умершие от того, что теперь называют «устранёнными нозологиями», умершие так буднично и часто, что в её детстве у каждого во дворе был кто-то, кого не стало. Она смотрела на живое, смеющееся, дышащее поле и напоминала себе: вот что мы сделали. Мы убрали пустые места.

Сходство не кончалось лицами. Оно проросло всюду, тихо, как проседает почва. Имён осталась горстка — на поле внизу сидели свои сотни Лео, свои Миры, свои Ноа и Аи, настоящей, старой Аи, а не той, что рядом с ней; учителя давно перестали удивляться, что в классе четыре одинаковых имени, и раздавали номера. Дети любили одно и то же, боялись одного и того же, тянулись к одному и тому же — не потому что им велели, а потому что из них выбрали то, что тянется. Через минуту диктор объявит финальную песню, и тридцать тысяч глоток подхватят её в один голос, слово в слово, никто не собьётся, и Ева знала, что от этого единого голоса у неё, как всегда, защиплет в носу от умиления — и что умиление это она сама больше не понимает.

Пальцы сами нашли запястье. Два прижатых к лучевой артерии пальца, счёт под кожей — привычка, от которой она так и не избавилась с ординатуры, тело, проверяющее само себя. Семьдесят два. Ровно. Она отняла руку.

— Это же вы.

Женщина рядом — мать, судя по бейджу с именем ребёнка на груди, — смотрела на неё с той узнающей теплотой, от которой Еве всегда делалось неловко.

— Вы выступали. Тогда, в самом начале. Я как раз была беременна Дашей. — Женщина кивнула куда-то вниз, в неразличимое поле, туда, где сидела её Даша, одна из тысяч. — Я боялась. А вы сказали такую вещь... что бояться — это нормально, но что теперь у страха нет причины. Что причину убрали. Я запомнила.

— Спасибо, — сказала Ева. — Я рада, что помогло.

— Вы ещё сказали про тех, кто против. — Женщина улыбнулась шире. — Что они торгуют страхом, потому что больше им торговать нечем.

— Я так говорила, да.

Она это говорила. Двенадцать лет назад, под софитами, молодая и абсолютно уверенная, с той чистой яростью, которую даёт правота. Тогда ещё был спор — настоящий, публичный, с криком, — и на одной стороне стояли данные, а на другой горстка упрямцев с их графиками разнообразия, их предупреждениями о генетическом фонде, их словами, которые Ева тогда искренне считала суеверием, наряженным в цифры. Она называла их паникёрами. Она называла их по именам, с трибуны, и зал смеялся, и наутро одно из этих имён исчезло из программы конференции, а потом из кафедры, а потом просто исчезло, и Ева не почувствовала ничего, кроме удовлетворения человека, отодвинувшего от края чужого ребёнка.

Женщина ещё что-то говорила, но Ева уже отвернулась к полю, вежливо, не грубо, просто отвернулась — и в этот момент вниз, через два яруса, кто-то закашлялся.

Обычный кашель. Сухой, короткий, детский. Она услышала его среди тридцати тысяч только потому, что двадцать лет слушала грудные клетки, и ухо цеплялось за такое само, без спроса. Ребёнок в третьем ряду нижнего сектора кашлянул дважды и притих.

Пыльца, подумала она. Разогретый пластик сидений, сахарная вата, тополь за стадионом. Аллергический сезон. Она отпустила это, как отпускают камешек в воду, и звук ушёл под гул праздника, и она забыла о нём прежде, чем успела запомнить.

Позже она будет возвращаться к этой секунде снова и снова. К тому, как легко отпустила.

— Ты опоздала, — сказала Ева, когда сестра наконец добралась до их ряда, ведя Аю за руку сквозь толпу.

— Мы не опоздали, мы искали парковку для нормальных людей, а не для тех, у кого пропуск в вип-сектор. — Лея опустилась на пластиковое сиденье, отдуваясь, и её тёплая, обветренная ладонь на секунду легла Еве на плечо — быстрое, привычное касание, которым Лея трогала всех вокруг, будто проверяя, что люди на месте. — Привет. Красиво тут у вас.

— Красиво, — согласилась Ева.

Ая села с краю, подальше, и уставилась вниз, на поле, сложив руки на груди. Ей было десять, как Мире, но рядом с полем одинаковых детей она казалась пришлицей из другой породы: тёмные волосы вместо охры, острые локти, кожа на сгибах рук в сухих розовых бляшках, которые она расчёсывала и которые Лея мазала кремом по три раза в день. Веки у неё были красноватые, воспалённые — вечная её весна, вечный её насморк. Она щурилась на солнце и была некрасива тем живым, асимметричным способом, которым дети перестали быть некрасивыми: слишком крупный для лица рот, чуть разные глаза, щель между передними зубами. Лицо, которое ни одна Матрица не собрала бы. Лицо, которое просто выпало, как выпадает решка.

— Как экзема? — спросила Ева профессионально.

— Чешется, — сказала Ая, не поворачиваясь. — Как всегда.

— Новый ингибитор кальциневрина пробовали? Есть неплохие данные по...

— Ева, — мягко сказала Лея. — Не надо её лечить. Она пришла на праздник.

Ева осеклась. Внизу диктор объявлял что-то торжественное, и поле откликалось волной.

— Я не лечу. Я спрашиваю.

— Ты всегда спрашиваешь так, будто уже выписываешь. — Лея сказала это без злости, устало, как говорят вещь, повторённую тысячу раз. Потом вздохнула и посмотрела на поле. — Господи, их правда не различить.

— Это называется фенотипическая конвергенция, — сказала Ева. И, услышав себя, добавила мягче: — Прости. Профессиональное.

— Ты всегда прощаешься латынью.

Они помолчали. Между ними лежало то, о чём они не говорили десять лет, с того самого дня, когда Лея, беременная, сидела напротив неё в клинике и качала головой на все графики, на все проценты, на все прогнозы благополучия. Ева тогда была уже не просто сестра, а голос системы, человек с экрана, и приготовила все аргументы, и не понадобился ни один, потому что Лея сказала просто: я не хочу выбирать. Не «я против». Не «это опасно». Я не хочу выбирать, кто родится, я хочу встретить того, кто придёт. И Ева отвечала: ты выбираешь не между красивым и некрасивым, ты выбираешь между здоровым и больным, между живым и — и не договаривала, потому что нельзя такое договаривать сестре. И Лея всё равно не выбрала, из упрямства, из трусости, из чего-то, чему Ева так и не подобрала диагноза. И родилась Ая — чешущаяся, колючая, орущая по ночам от колик, вечно простуженная Ая, которую Ева любила и за которую ей было тихо, неотступно больно, как бывает больно за чужую ошибку, которую уже не исправить.

— Она у меня знаешь какая, — сказала вдруг Лея, глядя на дочь. — Она вчера соседского кота из вентиляции вытащила. Три часа с фонариком, вся в пыли. Никто не просил. Просто услышала, что мяучит, и полезла.

— Я знаю, что она хорошая, Лея.

— Я не говорю — хорошая. Хороших полный стадион. Я говорю — какая. Это разное.

Ая обернулась. Она слушала весь разговор — конечно, слушала. У неё был этот взгляд, прямой и оценивающий, который у оптимизированных детей встречался редко: те смотрели ясно, а Ая смотрела в упор.

— Меня всё время лечат, — сказала она без выражения, ни к кому. — Как будто я сломалась и меня чинят. А я не сломалась. Я просто такая.

И отвернулась обратно к полю.

Лея открыла рот и закрыла. Ева хотела сказать что-то — что никто не считает её сломанной, что медицина это забота, а не приговор, что от экземы не отмахиваются, её лечат, потому что ребёнку не должно быть больно, — и не сказала, потому что диктор внизу назвал школу Мира, и она стала искать глазами дочь.

Она не услышала того, что сказала Ая. То есть услышала слова, но не то, что было под ними, — не услышала, что десятилетний человек только что назвал ей главную мысль всей этой истории и что от того, слышит она такое или отмахивается, зависит очень многое. Это она тоже потом вспомнит.

Мира сидела в четвёртом ряду своего сектора, голова к голове с Лео, и издалека их нельзя было различить.

Ева нашла их не сразу — пришлось идти по номерам, — а найдя, залюбовалась против воли. Двое детей, наклонившихся друг к другу, тонкие, светлые, одинаково спокойные. У них была одна манера сидеть, одна манера склонять голову, слушая. Мира что-то говорила, и Лео смеялся, и его смех и её смех выходили с одинаковой интонацией, будто один инструмент раздвоили и посадили рядом.

Их дружба началась в первом классе и с тех пор не прерывалась. Они были похожи не как брат и сестра — брат и сестра всё-таки разные, — а как две отливки из одной формы, и учителя, устав их путать, в начале года выдали каждому пластиковый бейдж на шнурке. Мира. Лео. С номерами. Сначала это казалось Еве смешным, милым абсурдом, а сегодня она смотрела на два одинаковых профиля и на два бейджа между ними и чувствовала что-то, чему пока не было названия.

Она знала Лео три года. Знала, что он не ест варёный лук, выбирая его из супа с брезгливой аккуратностью. Что боится грозы и в грозу приходит к ним и садится подальше от окна. Что у него привычка — когда думает, тянуть себя за мочку уха, и это была единственная его черта, которую нельзя было спутать ни с чьей, единственное, что принадлежало только ему, а не форме, из которой его отлили. Ева ловила себя на том, что цепляется за эту мочку уха как за доказательство: вот, он всё-таки отдельный, вот же.

Она спустилась ближе, к ограждению сектора, и Мира её заметила, помахала — сдержанно, она всё делала сдержанно, — и что-то шепнула Лео. Тот обернулся, увидел Еву и улыбнулся ей как родной. Он и был почти родной.

А потом Лео встал.

Он встал, пробрался вдоль ряда, спустился по проходу и пошёл — не к матери, не к киоску, а вверх, к их ряду, где с краю ото всех сидела Ая. Ева смотрела, как он подходит к колючей чужой девочке, которую весь стадион, если бы заметил, отметил бы как единственную неправильную ноту в тридцатитысячном хоре. Он что-то ей сказал. Ая сначала дёрнула плечом — отвяжись, — и не повернулась. Он сказал ещё что-то, сел рядом на корточки в проходе, чтобы быть вровень, и достал из кармана леденец, обычный красный леденец на палочке, и протянул. Ая посмотрела на леденец, потом на него, тем своим прямым взглядом, будто искала подвох. Подвоха не было. Лео просто держал руку и ждал, тянул себя за мочку уха свободной рукой и ждал, и в этом не было ни жалости, ни снисхождения, которыми её обычно одаривали, — было спокойное дружелюбие ребёнка, который не знает, что этой девочке положено быть чужой.

Ая взяла леденец. И впервые за весь день её большой, неправильный рот тронула кривая, недоверчивая, настоящая улыбка.

— Он вообще ничей, — сказала подошедшая учительница, проследив Евин взгляд. Молодая, замотанная, с ворохом одинаковых бейджей в руке для отставших. — В смысле, ко всем добрый. У нас их трое, знаете, три Лео в параллели. Их вообще не различить, мы уж и рассадить пытались по разным концам, а они всё равно...

Она осеклась, сообразив, с кем говорит.

— Ой. Простите. Вы же... это же вы про Матрицу тогда выступали.

— Ничего, — сказала Ева. — Продолжайте. Трое Лео.

— Ну да. — Учительница смущённо переложила бейджи. — Мы им номера дали, чтоб в журнале. Лео-один, Лео-два, Лео-три. Родители смеются. Хорошие мальчики, все трое, ласковые. Просто... ну сами видите.

Она отступила, унося свои бейджи, а Ева осталась стоять у ограждения и смотреть, как Лео возвращается к Мире, как две одинаковые головы снова склоняются друг к другу. Хорошие мальчики, все трое. Их не различить. И на одно короткое, постыдное мгновение мысль оформилась сама, помимо воли: если их трое и они одинаковы, то потеря одного ведь не потеря — остаются двое таких же. Ева отшатнулась от этой мысли, как отшатываются от края платформы. Так не думают о детях. Так думают о запчастях. Но мысль пришла не из злобы — она пришла из той же логики, что собрала это поле: если лучшее одно, то и людей, по сути, немного, и они взаимозаменяемы, как одинаковые ключи к одинаковым замкам. В первый раз за десять лет чистой, выстраданной правоты в ней шевельнулось что-то холодное и безымянное — не мысль уже, а её тень, легшая поперёк всего, чем она гордилась.

Она прижала два пальца к запястью. Семьдесят восемь. Чуть быстрее.

Волна пошла с нижних секторов.

Ева даже не сразу поняла, что это. Сначала был один кашель — тот самый, или другой такой же, — потом рядом второй, потом сразу несколько, и звук начал множиться, перекиды-

ваясь по рядам, как когда ветер идёт по полю и трава ложится полосой. Она стояла наверху, у поручня, и видела то, чего не видел никто внизу, потому что только сверху это было видно: по чаше стадиона, по живому охристому полю детей катилась рябь.

Как по воде.

Секторы кашляли по очереди, волной, и волна шла снизу вверх, к ней, набирая, и то, что было отдельными звуками, стало одним нарастающим шорохом, сухим, множественным. Диктор запнулся на середине фразы. Флаги ещё шли по кругу, нарядные, ничего не знающие, а под ними уже поднималась эта рябь, и Ева поняла с холодной ясностью человека, привыкшего видеть в звуках болезни, что смотрит не на праздник.

Она встала прямее прежде, чем поняла, зачем встаёт.

Тело знало раньше головы. Пальцы уже были на запястье, и там частило, частило, а глаза считали — не детей, а секунды между волнами, интервал, скорость распространения, — и клиническая часть её, та, что двадцать лет считала чужие пульсы, произнесла внутри неё, холодно и без выражения, единственное слово, которое ей не хотелось произносить.

Синхронно.

Не как толпа. Толпа кашляет вразнобой — кто простужен, кто поперхнулся, случайные точки в случайных местах. А это шло волной, будто по команде, будто тридцать тысяч грудных клеток были подключены к одному нерву и нерв дёрнули.

Внизу, в четвёртом ряду своего сектора, Мира наклонилась вперёд и закашлялась — раз, другой — и рядом, голова к голове, точно в такт, с той же интонацией, что и смех, закашлялся Лео.

Часть 2. Один пациент в миллионе тел

— Посмотрите ещё раз, — сказал Тео. — Я думал, это сбой выгрузки. Я перезапускал дважды.

Ева взяла у него планшет. В ординаторской пахло кофе и антисептиком, за окном стоял серый предутренний свет — она не спала, стадион был вчера днём, а ночь ушла на приёмный покой, куда всю ночь везли детей с кашлем и лихорадкой, и родители в очереди были ещё спокойны, ещё думали, что это простуда. Тео был ещё спокоен. Он был молод — второй год ординатуры, — из тех, кто пришёл в медицину в мир без смертей, для кого «устранённые нозологии» были главой в учебнике, а не соседским мальчиком, которого не стало. Он никогда не видел, как умирает много детей сразу. Ева видела — давно, в самом начале, до Матрицы, — и то, что поднималось сейчас у неё под рёбрами, поднималось из этой старой памяти прежде всяких данных.

На экране лежали аллергологические панели. Четыре ребёнка, поступивших с респираторными жалобами за ночь. Разные семьи, разные районы, разные фамилии.

Одинаковые панели.

Не похожие. Одинаковые. Тот же профиль сенсibilизации, те же классы антител, тот же спектр — берёза, кошка, арахис, клещ домашней пыли, — расставленные в том же порядке, с той же интенсивностью, будто списанные под копирку. Она свела два графика, наложила, потом третий, четвёртый. Линии легли друг на друга и слились в одну жирную кривую, и в этой слитности было что-то физически неправильное, от чего хотелось отвести глаза, как от лица без черт.

— Это лаборатория напутала с образцами, — сказала она. — Перепутали пробы, прогнали один четыре раза. Бывает.

— Я тоже так подумал. Заказал повтор. Свежий забор, каждому свой, я сам маркировал, сам относил. — Тео сглотнул. — Это результат повтора.

Гудел холодильник с образцами, безучастно. Ева выравнивала стопку распечаток по краю стола, край к краю, — и снова разложила графики, и стала думать. Она умела думать так — раскладывая явление по причинам, как раскладывают пасьянс, — и сейчас думала быстро, перебирая, потому что за каждой перебранной причиной стояла та, которую она перебирать не хотела.

Общая среда. Дети из одних районов, дышат одним воздухом, аллергия — это ведь опыт, это встреча организма с миром, а мир у них общий. Общий рацион — детское питание из трёх агрохолдингов на всю страну, одни белки, одни добавки. Реагенты одной партии, систематическая ошибка теста. Сто причин, по которым сто детей могут дать похожий результат.

Похожий. Не идентичный. Она держалась за это слово как за поручень. Идентичного не даёт ничего живое. Идентичное бывает у клонов, у однояйцевых близнецов — и то не совсем, и то иммунитет расходится с годами, потому что жизнь у каждого своя. А тут были не близнецы. Тут были дети из разных семей, зачатые в разные годы, — и панели у них сходились до последнего класса антител.

— Они едят одно, дышат одним, — сказала она вслух, и голос был ровный, распорядительный, голос человека, у которого всё под контролем. — Одинаковый опыт — похожий ответ. Иммунная система — это биография, Тео. У них похожие биографии.

— Похожие, — повторил Тео тихо, глядя на ту же слитую линию, что и она. Он не спорил. Он просто смотрел, и в том, как он смотрел, была та же тень, что шевельнулась в ней вчера на стадионе.

Она не ответила. Она уже видела то, что видел он. Но назвать это значило сказать вслух вещь, после которой не будет обратного пути, — а Ева двенадцать лет назад стояла под софи-

тами и ручалась своим именем, своим лицом, что этой вещи не существует, что тревога о генетическом фонде есть суеверие в цифрах. Назвать это значило начать разбирать себя.

Она положила планшет экраном вниз, как кладут снимок, который не хочется больше видеть.

— Заказывай генотипирование. HLA, полный локус — тот, что отвечает за иммунный ответ. Всем четверым и десяти случайным из архива, из выпуска пятидесятого. — Она услышала собственный голос со стороны. — И держи это между нами, пока не будет цифр. Не хочу пугать людей раньше, чем буду знать, чем именно пугаю.

Это была ложь, и она это знала. Она не хотела знать сама.

К среде цифры были. И к среде был вирус.

Он пришёл незаметно, как приходит всё по-настоящему опасное: не с сиреной, а со строчкой в утренней сводке. Новый респираторный рекомбинант — обычное дело, вирусы обмениваются кусками, как дети карточками, тасуют геном и время от времени собирают из старого что-то новое. Первые сообщения были почти скучные: лёгкая лихорадка, кашель, ломота, за три дня проходит. Взрослые переносили его на ногах. Пожилые — тяжелее, но пожилые тяжелее переносят всё, к этому мир давно привык.

Ева заметила его не по сводке. Она заметила его по двум графикам, которые Тео вывел рядом на один экран, и по тому, как у него дрожала рука, когда он разворачивал экран к ней.

— Вот распределение тяжести по всей популяции, — сказал он. — А вот — только по выпуску пятидесятого и младше. Я разделил, потому что... ну вы поймёте.

Первый график был нормальным. Пологий холм, длинный хвост в сторону тяжёлых случаев — так болеет любая популяция от начала времён: кто-то легко, кто-то тяжело, большинство посередине, между ними плавный переход. Обычная кривая. Обычная, милосердная в своей обычности жизнь, где всегда есть середина, где всегда кто-то отделается лёгким.

Второй был другой формы. У него не было середины.

Он раздваивался. Маленький горб у самого лёгкого края — те, кого болезнь почти не трогала, три дня соплей и всё, — и второй горб, высокий, придвинутый к дальнему краю, где стояли слова «дыхательная недостаточность» и «интенсивная терапия». Между ними — провал. Пусто. Не редко, не мало — вообще ничего, будто кто-то вырезал из распределения всю его середину, всё милосердие, оставив только да и нет, только жизнь и дно. Дети либо не болели, либо падали сразу.

Две кривые лежали рядом на одном экране и расходились, как ножницы.

— У обычных детей это насморк, — сказал Тео. Голос у него сел. — А у наших — вот это. Второй горб. Он же почти весь у края.

Он не договорил. Ева смотрела на второй график, и во рту стоял тонкий металлический привкус, который она за двадцать лет научилась узнавать раньше, чем понимала его причину: привкус страха, поднимающегося прежде мысли, старый животный сигнал, что рядом что-то большое.

Болезнь не выбирала слабых. В том и ужас: слабых нет среди оптимизированных, их для того и собирали, чтобы не было слабых. Болезнь выбирала не слабых, а *определённых*. Она находила что-то одно, общее для всего поколения, какую-то одну дверь, у всех отпертую и незапертую, и входила в неё, и там, где ребёнок из старого, разнообразного мира отделялся тремя днями соплей, ребёнок из выпуска пятидесятого проваливался в бимодальную яму без дна. Потому что у ребёнка из старого мира дверей было много и заперты они были по-разному, у каждого свои, а у этих — одна на всех, и она была открыта.

Слепая зона, подумала она, и на этот раз не смогла отогнать. У всех одна.

Она взяла у Тео листок с HLA-цифрами — теми, что он прислал ей ночью и от которых у неё до сих пор не отпустило под рёбрами, — и посмотрела ещё раз, хотя знала их наизусть. Локус, который у людей должен быть пёстрым, как ни один другой, самый разнообразный участок всего генома, придуманный природой именно затем, чтобы у каждого была своя защита и чтобы одна зараза не могла выкосить всех сразу, — этот локус у десяти неродственных детей сходил к горстке одинаковых вариантов. Пёстрое поле стало однотонным. Тридцать тысяч разных замков заменили одним ключом.

Пришло сообщение. Она глянула на экран машинально — и холодок прошёл по позвоночнику, снизу вверх, как та волна по трибунам.

Лея. Три слова. *Лео в больнице.*

Лео лежал в боксе на третьем этаже, и это был тот же профиль, что она видела на стадионе, — только теперь он лежал на подушке, запрокинутый, и грудь под простыней ходила часто и мелко, слишком мелко, с тем втяжением межреберий, которое Ева могла бы нарисовать с закрытыми глазами и от которого у неё холодело всё.

Мира стояла у стекла бокса и не отходила. Ева нашла её там — маленькую, прямую, с бейджем на шнурке, который она так и не сняла со вчерашнего дня. «Мира». С номером. Она стояла, сложив руки за спиной, и смотрела внутрь, за стекло, где двое в защитных костюмах, раздутых и безликих, поправляли Лео кислородную маску.

— Тебе нельзя сюда, — сказала Ева. — Пойдём, солнце.

— Я не захожу. — Мира не повернулась. — Я стою здесь. Отсюда можно. Отсюда я не заражаю его, а он не заражает меня, хотя это уже неважно, потому что я тоже. — Она сказала это без нажима, как читают условие задачи. — Я слышала, как ты говорила по телефону. Что мы все уже. Я не подслушивала, ты громко.

Ева встала рядом. За стеклом свистело дыхание — она слышала его даже отсюда, тонкий высокий свист на выдохе, звук суженных до нитки бронхов, звук, который ей не нравился больше всех звуков на свете.

— Ему помогут, — сказала она. — Здесь хорошие врачи. Здесь всё, что нужно.

— Ты хороший врач, — сказала Мира. — Ты самый. Ты по телевизору была. Помогли ты.

И это было сказано так просто, с такой полной десятилетней верой в то, что взрослый, который умеет, обязан суметь, что «самый хороший врач» — это тот, у кого не умирают, что Ева не нашлась ни с одним словом. Она стояла у стекла, за которым угасал ребёнок, которого она три года кормила ужином и знала, что он выбирает лук из супа и тянет себя за ухо, — и впервые за двадцать лет практики чувствовала, как знание, огромное и точное, накопленное знание всей её жизни, не переводится ни в одно действие. Она знала до последней молекулы, что происходит в лёгких Лео. Она знала это лучше всех в этом коридоре, лучше всех в этом городе. И не могла сделать ничего, потому что нельзя вылечить ту дверь, которую сама помогла оставить открытой.

Мира вложила свою ладонь в её. Не ища утешения — Мира никогда не искала утешения, — а будто предлагая своё, взрослому, которому вдруг стало хуже, чем ребёнку. Тонкие холодные пальцы легли в Евину руку.

За стеклом монитор пискнул иначе. Один из костюмов выпрямился и махнул рукой второму, коротко, тем движением, которое Ева тоже знала.

— Мира, — сказала она, и голос у неё дрогнул впервые за все эти дни. — Идём. Правда идём. Пожалуйста.

— Нет, — сказала Мира. И закашлялась — раз, другой — тем же сухим, множась кашлем, что катился позавчера по трибунам, и на секунду её спокойное лицо исказилось, и стало видно, что ей всего десять.

Лео умер в четверг, в пять утра.

Ева была в коридоре, когда это случилось, — не в боксе, в боксе была реанимационная бригада, — и она видела всё через стекло, как видела всё через стекло в этой истории с самого начала, всё через прозрачную стену, отделявшую знание от помощи. Она видела, как живая зелёная линия на мониторе, которая должна прыгать, перестала прыгать. Как её выровняли на секунду ритмичные толчки чужих ладоней и как она снова легла, тихо, окончательно. Как один из костюмов посмотрел на часы — не на монитор, на часы, отмечая время, — и как второй отступил от кровати и опустил руки.

Тишина после отключённого сигнала — Ева знала эту тишину, самую полную из всех, глуше всякой другой, — легла в коридоре.

Мира стояла рядом. Её не увели — не успели, или не смогли оторвать от стекла, и, может быть, это было неправильно, и потом Ева будет думать, что это было неправильно, но в ту минуту она сама держалась за руку дочери, а не дочь за её. Мира смотрела, как накрывают простынёй лицо, которое было почти её лицом. Как одна из фигур в костюме на секунду задержала руку над этим лицом — не медицинским движением, человеческим, — и опустила простыню.

— Мама, — сказала Мира.

— Я здесь.

— Я знаю, что теперь я. — Она не плакала. Её голос был гладким той жуткой гладкостью, которой их научила оптимизация, — ясным, артикулированным, взрослым, без единой трещины, и от этой безупречности было страшнее, чем от любого крика. — Не делай лицо. Я видела, как это. С начала до конца. Теперь я знаю, как это будет со мной, и не надо делать лицо, будто не будет. Я же не маленькая.

Ева опустилась перед ней на корточки и взяла её за плечи, тонкие, острые под футболкой, и хотела сказать все те слова, которые говорят детям, все спасительные, лживые, необходимые слова: нет, это не так, ты не заболеешь, я не позволю, я тебя вытащу. И не сказала ни одного. Потому что дочь смотрела на неё в упор тем самым прямым взглядом, каким смотрела Ая, — только у Аи он был от рождения, а у Миры его открыла смерть, — и лгать этому взгляду было нельзя, невозможно, стыдно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.